



*Одна туфля соскользнула и лежит на ковре, черное пятно на фоне размытой геометрии синего и зеленого. Другая свисает с ноги, вот-вот свалится, половинка ее тени – под креслом. Справа сквозь ситцевые занавески пробивается солнечный свет, позади нее на стене расплывчатое пятно цветка. Тело Дженни – темно-синяя дуга, потому что она свернулась в кресле, перекинув ноги через подлокотник, пристроив голову на другом. Темные волосы убраны назад, но отдельные пряди сползают по бледному лицу и шее, отчего создается впечатление, что у картины есть черно-белый центр, постепенно растворяющийся в цветном круговороте обоев и персидского ковра по краям холста. Загорелая рука свисает с кресла, ладонь перевязана белой тряпичей. Она спит – глаза закрыты, да и кто намеренно уляжется в такую позу, но лежать ей явно неудобно, словно ее швырнули в это кресло или будто она пытается выспаться в железнодорожном вагоне.*

*Считается, что моделью послужила домохозяйка Моберли, других изображений которой не сохранилось. Нет никаких записей о том, что подтолкнуло его к созданию этой картины, да и личность модели установлена лишь гипотетически; насколько нам известно, другой Дженни в окружении Моберли в то время не было.*





Она уже долгое время не находит себе места, медленно расхаживает по комнате под привычный скрип половиц. Вот уже несколько недель она по ночам вставала с кровати, спускалась вниз — поесть, думает он — и читала, сидя в кресле, когда лежать было совсем неудобно. Она бродит по его снам, будто призрак, словно бы ей, не знающей отдыха, невыносим его покой. Будь у них еще одна кровать, он спал бы там. Он переворачивается на другой бок, прикрывает уши одеялом. Она наступает на расштанную половицу у окна, и вместе с ее выдохом до него доносится легкое постанывание. Он садится.

— Элизабет?

Она согнулась, держась за подоконник, грузная фигура вырисовывается на фоне ночного неба. Штор по-прежнему нет.

— Кажется, тебе пора идти за мамой. Прямо сейчас.

Он не мешкает. Но и не бежит. Первый ребенок — это долго, сказала миссис Сандерсон, даже если Элизабет и покажется, что действовать нужно срочно, пусть они запомнят — нет, не нужно, во время первых родов женщины ошибочно полагают, будто надо поторапливаться. Естественные роды, сказала она, отмахиваясь от кувшинчика со сливками, которые он предложил ей за чаем, проходят безо всякой спешки

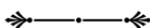
и мелодрамы. Осложнения начинаются вместе с беспокойством. С Элизабет ничего не случится, сказала его теща, если она побудет дома одна, пока ты сходишь за помощью, и уж конечно, женщинам не стоит держать дома повитуху, как это принято у богатых дам. Он вспоминает, как исказилось лицо жены, когда она, закрыв глаза, привалилась к перилам, и звук его шагов по заиндевевшей мостовой переходит в дробь. Но все равно этот миг, эта дорога — одна из редких в его жизни апорий, пауза перед тем, как все переменится. Ночной воздух обжигает ему нос и грудь. Брусчатка оперена ажурным инеем, который напоминает ему о павлиньих гардинах Стрита. В вышине под звездами плывет облако, и город вокруг молчит, закрыв окна будто глаза, деревья, изгороди — все неподвижно.

Черное сажистое небо становится блекло-серым. Пусть, как обычно, идет на работу, говорит миссис Сандерсон. Еще даже доктора звать не пора, Элизабет, как и опасалась ее мать, забила тревогу гораздо раньше, чем следовало. Работающие женщины в первые часы родов продолжают заниматься своими делами, миссис Сандерсон и сама поступила точно так же. Она останется в доме и пошлет за ним, когда действительно придет время. Нет, ему не стоит подниматься к Элизабет перед уходом на работу. Элизабет позволила себе распуститься, не нужно делать ей поблажек — так будет лучше и для нее, и для ребенка. Сверху доносятся шаги, стон.

— Прошу прощения, — говорит она. — Я попробую ее образумить. Я думала, она проявит больше выдержки. Идите на работу, Альфред. Помочь вы тут

ничем не сумеете, а деньги вам сейчас пригодятся как никогда.

И все равно он мнется в коридоре, ноги готовы идти, но тело не двигается с места. Почему нельзя делать поблажек женщине, которая испытывает боль? Ведь, наверное, даже в Книге Бытия рожающим женщинам дозволяется кричать, когда они испытывают страдания, оправдать которые можно только грехопадением. Возможно, надо остаться. И делать что? А у него встреча в конторе с клиентом, с богатым клиентом, который зайдет, чтобы обсудить интерьер своего нового дома и бальной залы в том числе. Миссис Сандерсон права, им нужны деньги. Ребенку будут нужны деньги. И он ничего не знает о родах. Сама Элизабет, конечно, сказала бы, что женщины лучше разбираются в таких вещах. Он медленно открывает дверь, притворяет ее за собой. Встало солнце. На траве сверкает роса, и возле клумбы, которую Элизабет вскопала у ворот, торчат яркие подснежники. Хороший день, чтобы родиться, думает он.



Ребенок плачет, его ярость расплзается по дому будто дым, сворачивается кольцами под потолком. Она потеряла промокашку. Наверное, Альфред взял. Она размахивает письмом вверх-вниз, словно подаст кому-то сигнал. Но тут никого нет. Дома холодно; увидев последний счет за уголь, она теперь разжигает огонь только вечером, когда Альфред возвращается домой. Она надписывает конверт. Три готовы,

осталось восемнадцать. Ребенок плачет. Она запечатывает письмо, начинает следующее. Грудь покалывает, молоко течет. Низ сочится кровью. Ребенок прохудил ее, продырявил. Осквернил. *Дорогая леди Хиткот*, пишет она, *я пишу Вам от имени всех женщин Манчестерского Общества благоденствия, чтобы выразить нашу глубочайшую признательность за Ваш вклад.* Когда допишет это письмо и следующее, то посмотрит, что там у нее на обед, и покормит ребенка. Ребенок плачет. Все никак не поймет, что криком нам желаемого никогда не добиться.



— А вам не кажется, что серый слишком темный, мистер Моберли?

— Будет очень впечатляюще. Золото в гардинах будет сиять на всю комнату, лилии буквально запылают. Ваши друзья потеряют дар речи. Но мебель должна быть очень незамысловатой. Для таких эффектов важна простота.

Когда она поворачивается к нему, жар от камина разносит ее аромат. Потрескивают дрова. Часы на каминной полке вызывают мелодию.

— Останетесь к чаю, мистер Моберли? Муж, наверное, захочет к нам присоединиться.

Она идет к звонку, шурша узорчатыми юбками, за ней тянется зыбкий шелковый след. Элизабет не носит дамасского шелка, не шелестит платьем, не притягивает на пространство вокруг себя. Он никогда не видел ног миссис Дэлби. Весьма сомнительно, чтобы

Джон Дэлби сознался в том, что у него есть время чаевничать с декоратором; состояние, которое он сколотил совсем недавно на железнодорожных ценных бумагах, отчего-то требует его постоянного внимания.

— С превеликим удовольствием, миссис Дэлби.

Горничная в белом оборчатом чепце вносит поднос с угнездившимся на кружевной салфетке пузатым серебряным чайником и двумя чашками с торчащими из-под блюдецек кружевами. Служанка помоложе тащит переполненную фарфоровую конфетницу и что-то под серебряным колпаком. Он втискивает свои эскизы между рядком растений в горшках и выводком дагерротипов в серебряных рамочках, стоящих на задрапированном рояле. Ему придется многому научить миссис Дэлби. Она разливает чай, держа чайник обеими руками, а затем снимает с блюда серебряный колпак. Ему вдруг хочется ударить по нему ложкой, словно это камертон.

— Для вас я велела приготовить тост с анчоусами. Джентльмены часто предпочитают его пирожным.

Он усаживается с ней рядом, берет чашку — чашку из такого тонкого фарфора, что ее можно раздавить двумя пальцами.

— Но я, миссис Дэлби, испытываю слабость к сладкому.

Она смеется. Огонь отбрасывает дрожащий свет на ее шелка и завитые волосы. После чая она сыграет для него на рояле, а на Пасху ее муж выпишет ему солидный чек, которого хватит, чтобы расплатиться со всеми зимними долгами и заказать ковер в их с Лиззи спальню.